

А.А. Чевтаев
A.A. Chevtaev

**КРИЗИС СУБЪЕКТНОГО САМОСОЗНАНИЯ
В СТИХОТВОРЕНИИ Н.С. ГУМИЛЕВА «ДУМЫ»**

**THE CRISIS OF SUBJECTIVE SELF-AWARENESS
IN N.S. GUMILEV'S POEM "THOUGHTS"**

В статье рассматривается поэтика стихотворения Н.С. Гумилева «Думы» в аспекте ценностного самополагания лирического субъекта. Данный текст, написанный в 1906 году и подвергавшийся многочисленным стилистическим корректировкам в 1910 году, в гумилевском творческом сознании выделяется в особую смысловую позицию и мыслится «пуантом» лирического самоопределения «я», о чем свидетельствуют включения поэтом этого стихотворения в составы первоначальной редакции книги «Жемчуга» (1910) и итоговой редакции книги «Романтические цветы» (1918). «Думы» предстают одним из первых опытов гумилевской рефлексии над антиномичностью собственной субъектной позиции в утверждаемой поэтом неоромантической реальности. Символистская устремленность лирического героя Гумилева 1900-х годов к идеальной и неоромантически рафинированной области бытия здесь подвергается критической переоценке, эксплицирующей кризис онтологического самоопределения субъектного «я». Анализ стихотворения показывает, что собственные «думы» (тягостные мысли и переживания), персонифицируемые в качестве начала, враждебного лирическому герою, и уподобляемые «темному» «двойнику», воспринимаются субъектом Гумилева как кара за созерцательное («декадентское») понимание идеала, лишенное «жизнестроительного» единства «слова» и «дела». Элегизируя видение прошлого и акцентируя момент ценностного прозрения, лирический субъект использует «балладную» жанровую стратегию репрезентации своего столкновения с «думами», призванными судить и карать его за профанные смыслы и греховные заблуждения изначальной жизненной позиции. Встреча с «думами» как объективированной вовне «мстительной» ипостасью собственного «я» в соответствии с трагической модальностью балладного жанра предполагает гибельный итог. Делается вывод, что предвидение морального исхода репрезентируемого контакта с самим собой, с одной стороны, указывает на неудовлетворенность поэтом символистским концептуальным расщеплением идеала и реальности, а с другой – утверждает идеологему движения к подлинному бытию посредством трансгрессивного перехода между жизнью и смертью. Стихотворение «Думы» эксплицирует кризисную самоактуализацию субъектного «я» в мире, которая впоследствии становится онтологической нормой сопряжения микрокосма и макрокосма в поэтике Гумилева.

Ключевые слова: Н. Гумилев, «балладная» поэтика, двойничество, лирический герой, неоромантизм, символизм, субъектная аксиология, элегизм.

The article examines the poetics of N.S. Gumilev's poem "Thoughts" in the aspect of value self-setting of a lyrical subject. This text, written in 1906 and subjected to numerous stylistic adjustments in 1910, stands out in Gumilev's creative consciousness in a special semantic position and is thought of as "a pointe" of the lyrical self-determination of "the self", as evidenced by the poet's inclusion of this poem in the original edition of the book "Pearls" (1910) and the final edition of the book "Romantic Flowers" (1918). "Thoughts" appears to be one of the first experiments of Gumilev's reflection on the antinomian nature of his own subjective position in the neo-romantic reality asserted by the poet. The symbolist aspiration of the lyrical hero Gumilev of the 1900s to the ideal and neo-romantically refined realm of being is critically re-evaluated here, explicating the crisis of the ontological self-determination of the subjective "the self". The analysis of the poem shows that one's own "thoughts" (painful thoughts and experiences), personified as a beginning hostile to the lyrical hero, and likened to a "dark" "double", are perceived by Gumilev's subject as punishment for a contemplative ("decadent") understanding of the ideal, devoid of the "life-building" unity of "word" and "deed". Elegizing the vision of the past and emphasizing the moment of value insight, the lyrical subject uses a "ballad" genre strategy of representing his encounter with "thoughts" designed to judge and punish him for profane meanings and sinful delusions of the original life position. Meeting with "thoughts" as an externally objectified "vindictive" hypostasis of one's own self, in accordance with the tragic modality of the ballad genre, presupposes a disastrous outcome. It is concluded that the foresight of the mortal outcome of the represented contact with oneself, on the one hand, indicates the poet's dissatisfaction with the symbolist conceptual assimilation of the ideal and reality, and on the other hand, asserts the ideologeme of the movement towards authentic being through a transgressive transition between life and death. The poem "Thoughts" explicates the crisis self-actualization of the subjective "the self" in the world, which subsequently becomes the ontological norm of the pairing of microcosm and macrocosm in Gumilev's poetics.

Key words: N. Gumilev, "ballad" poetics, duality, lyrical hero, neo-romanticism, symbolism, subjective axiology, elegy.

DOI: 10.24888/2079-2638-2024-60-1-68-79

Символистское мировидение, отличающееся стремлением к интеллигентному спозрению инобытия и нарочитой эстетизацией взаимодействия микрокосма и макрокосма, является концептуальным ядром художественной идеологии и поэтики творчества Н.С. Гумилева 1900-х годов. Неоромантическая идеализация бытийных движений человека в универсуме, присущая гумилевской поэзии в целом, в ранний период творческого развития Гумилева явно соизмеряется с практиками русского символизма и предстает индивидуально-авторским осмыслением символистских исканий, восходящим, с одной стороны, к поэтическим опытам В.Я. Брюсова (в плане – культа пластической красоты), а с другой – к экстатической поэзии Вяч.И. Иванова (в плане – оккультно-эзотерического мифологизма). Модель мира, конструируемая поэтом в произведениях 1900-х годов, эксплицирует символистское уподобление микрокосма макрокосму и акцентирует погружение лирического субъекта «в глубины

человеческого ума и воображения» [3, 29]. Абсолютизация «я» как источника и центра онтологического постижения мироздания определяет смысловые интенции авторского сознания Гумилева в период создания его первых поэтических книг «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908) и «Жемчуга» (1910) и свидетельствует об их символистском фундаменте [5, 64]. При этом актуализация неоромантических мотивов и образов маркирует горизонты ментальных поисков гумилевского лирического субъекта, жаждущего обрести бытийный идеал посредством преодоления телесно-физической данности мира и мифопоэтического «вживания» в архаику (мифологизированную историю) человеческого существования.

Гумилевский символизм, конечно, обладает индивидуально-авторской спецификой, которая, во-первых, свидетельствует о принципиально рефлексивной, а не эпигонской рецепции «заветов символизма», а во-вторых, показывает, что на раннем этапе творческого становления поэт стремится диалогизировать свои отношения с символистскими практиками художественного мировидения. Так, по мнению С.Л. Слободнюка, уже в ранних стихотворениях Гумилева «определилась его позиция, антагонистическая по отношению к "предкам"-символистам и в области мировосприятия, и в области мировоззрения» [21, 148]. Хотя данное суждение нам представляется чрезмерно радикальным и отнюдь небесспорным, оно согласуется с магистральным вектором развития гумилевского поэтического самосознания – стремлением вывести из символистского мирообраза собственную концепцию бытия. Думается, что Гумилев в 1900-е годы не противостоит символизму, а творчески верифицирует его сильные и слабые стороны, тем самым создавая свою окказиональную версию символистской поэтики. Индивидуализация символистских стратегий и поиск новых способов художественного соотношения реальности и идеала в гумилевской поэзии во многом определяются предельным усилением романтических интенций смыслообразования. В ранней поэзии Гумилева эксплицируется «романтическая атмосфера экстатичных душевных переживаний, рождавших прихотливые мечты, грезы, сны, вызывавших странные, запредельные видения, символизировавшие общечеловеческие идеалы или, напротив, их угасание» [14, 168]. Гумилевский неоромантизм, сосредоточенный на динамике ментальных состояний поэтического «я», с одной стороны, обуславливает построение и экспликацию нарочито рафинированной художественной действительности, уподобляемой мифологическому и сновидческому миру иллюзорных видений, а с другой – смысловую нацеленность лирического субъекта к эпицентру героических свершений в системе мироздания.

Изначальная устремленность лирического героя Гумилева к волевому освоению мира и преобразению микрокосма и макрокосма посредством онтологического поступка чаще всего понимается как реализация героической модальности «ощельнения» художественного мира поэта. Как указывает Е.Г. Раздьяконова, ключевым параметром гумилевской самоактуализации является «идея героизма», сопрягаемая с «представлением о достойно проживаемой жизни» [20, 194]. Конечно, героика является отчетливым жанрово-модальным и идеологическим маркером поэтики Гумилева, как в ранний (символистский), так и в поздний (акмеистический) периоды его творчества. При этом необходимо понимать, что гумилевское самоопределение в универсуме обнаруживает принципиальную амбивалентность и постоянные нарушения прямолинейности пути к сущности мироздания. Мифологема пути, представая основой разворачивания смыслов в поэзии Гумилева и определяя сущностные основания его мифопоэтики, в 1900-е годы выдвигается поэтом на первый план в качестве сюжетной и аксиологической константы смыслообразования

[13, 121; 22, 37]. Однако, при всей концептуальной «парадигматичности» и ценностно-смысловой абсолютизации пути в гумилевской поэтике, продвижение лирического субъекта от профанных к сакральным смыслам бытия лишено линейности и сопровождается онтологическим «оглядыванием» пройденных этапов жизненной дороги. По мысли А.А. Асояна, «особенность мировосприятия Гумилева заключается <...> в том, что он чрезвычайно чуток к роковой дихотомии бытия и воспринимает ее как непреложный удел» [1, 310]. Соответственно, осознание антиномичности миропорядка и тех противоречий, в которые бытийно и ценностно помещен человек, определяет разветвленность и многомерность репрезентации пути в мифопоэтическом универсуме Гумилева.

Онтологический путь поэтического «я» в гумилевской поэзии 1900-х годов обнаруживает точки «разрыва», то есть рефлексивные попытки уяснить истоки, данность и перспективы бытийного самоопределения лирического героя. Такая авторефлексивная направленность субъектного сознания, во-первых, указывает на присущую Гумилеву проблематизацию избранных вариантов поэтической и «жизнестроительной» реализации собственного «я», а во-вторых, свидетельствует о том, что гумилевское устремление к героическому полюсу осложняется экспликацией эмоционально-психологических кризисов и ментальной катастрофичности самополагания человека в миропорядке. На пути к сакральному единению бытийных антиномий лирический герой Гумилева подвергается множеству испытаний, среди которых наиболее сложными оказываются столкновения с собственным «я».

В этом отношении особое место занимает стихотворение «Думы», написанное поэтом в 1906 году и сохраняющее свое ценностно-смысловое значение на протяжении практически всего творческого пути Гумилева. Первоначальный вариант данного текста известен по письму к В. Брюсову от 11-го ноября 1906 года, в котором он не имеет заглавия и предлагается в качестве экзерсисного примера «развития» гумилевского таланта [23, 122–123]. Заглавие «Думы» стихотворение получает при первой публикации в журнале «Весна» (1908, № 2), однако в 1910 году поэт вновь снимает это название, и только в 1918 году возвращает его окончательно. Данный поэтический текст, созданный в период интенсивного освоения Гумилевым символистских практик и явно осмысляемый в контексте русского символизма, на что указывает его представление Брюсовым «оценке» и «суду», впоследствии подвергается многочисленным стилистическим коррективам и семантическим уточнениям [11, 293–294]. Кропотливая работа поэта над текстом «Дум» свидетельствует о том, что в гумилевском творческом сознании это стихотворение выделяется в особую смысловую позицию и мыслится «пуантом» лирического самоопределения «я». На концептуальный и «трансгрессивный» характер аксиологических смыслов данного текста указывает то, что Гумилев на разных этапах творческого пути использует его в качестве маркера бытийного самоопределения «я». Первоначально стихотворение, лишенное заглавия («В мой мозг, в мой гордый мозг...»), включается в состав первого раздела «Жемчуг черный» первой редакции книги «Жемчуга» 1910 года, но впоследствии – уже как «Думы» – перемещается в состав итоговой редакции 1918 года более ранней книги стихов «Романтические цветы». Такие включения данного текста в различные авторские контексты концептуализации собственного творческого пути показывают, что стихотворение «Думы» мыслится Гумилевым одной из принципиальных вех поэтического и жизненного самоанализа, семантические проявления которого сохраняют актуальность и в символистский период движения в будущее, и в постсимволистское время рефлексии над прошлым.

Несмотря на очевидную значимость стихотворения «Думы» для понимания сущности поэтического мировидения Гумилева, поэтика и идеология данного текста остаются практически не востребованными современным «гумилеведением». Думается, что исследовательское невнимание к этому гумилевскому произведению обусловлено его нарочито диссонансным смысловым «звучанием» относительно магистральных неоромантических стратегий 1900-х годов. Ценностное «выпадение» «Дум» из концептуальной логики развития ранней поэзии Гумилева ведет к восприятию данного стихотворения в качестве ученически-символистской «периферии» его творчества. Нам же представляется, что «Думы» являются одним из первых опытов гумилевской рефлексии над антиномичностью собственной субъектной позиции в утверждаемой поэтом неоромантической реальности символистского извода.

В предлагаемой статье мы обращаемся к рассмотрению поэтики стихотворения Гумилева «Думы» в аспекте ценностного самополагания лирического субъекта. Психологический и онтологический планы восприятия лирическим героем собственного жизненного самоосуществления демонстрируют кризисное состояние его сознания, что отчетливо проблематизирует символистскую и неоромантическую целостность гумилевского поэтического мировидения. Соответственно, целью данной работы является аналитическое осмысление репрезентации кризиса лирического сознания гумилевского «я» в стихотворении «Думы». Совмещение структурно-семиотического, мифопоэтического и феноменологического методов изучения художественного текста способствует выявлению специфики актуализации Гумилевым кризисной точки творческого и бытийного самоопределения в системе символистских и неоромантических представлений о мире.

Стихотворение «Думы», несмотря на то, что оно написано молодым и еще только обретающим собственное мировидение поэтом, являет констатацию «итога». Так, на «итоговый» характер данного текста в 1925 году указывал Ю.Н. Верховский, отмечавший в своем эссеистическом осмыслении гумилевской поэзии, что в «Думах» подводится определенная черта ранним исканиям поэта и что их смысл созвучен тютчевскому пониманию диалектики порядка и хаоса [7, 517]. Цитируемые критиком формульные строки стихотворения Ф.И. Тютчева «О, бурь заснувших не буди, / Под ними Хаос шевелится!..» («О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836)) [25, 133], безусловно, согласуются с основным вектором смыслообразования в гумилевских «Думах», но с существенной поправкой: если тютчевское высказывание направлено «вовне», в сферу макрокосма, то у Гумилева оно, напротив, ориентировано всецело на «себя», на собственное полагание «я» в миропорядке. При этом родство гумилевского и тютчевского текстов, отмеченное Ю. Верховским, видится несомненным: так же, как Тютчев в своем «визионерском» прозрении постигает хаотическую основу природной данности бытия, Гумилев в ментальном постижении собственного «я» обнаруживает «ночное» измерение поэтической души. Именно осознание таящихся в микрокосме психологических бездн маркирует кризис субъектного самосознания в гумилевском стихотворении.

Неоромантическая модель мира, которая утверждается Гумилевым в его ранних стихотворениях (прежде всего – в книге «Путь конквистадоров»), вытесняет антиномичность бытия за пределы микрокосма. Противоречия между реальностью и идеалом тождественны конфликту субъекта и миропорядка, что воплощается в ницшеанских идеологемах героя-пророка и героя-искателя, посредством которых гумилевское поэтическое сознание моделирует и цементирует мифологическую реальность (ср.: «Жаркое солнце поэта / Блещет, как звонкая сталь. / Горе не знающим света! / Горе обнявшим печаль» («Песнь Заратустры» (1905)) [11, 37]; «Как

конквистадор в панцире железном, / Я вышел в путь и весело иду» («Сонет» (1905)) [11, 81]). Эксплицируемая целостность лирического «я» и его бытийных интенций здесь предстает неоромантической константой, призванной обеспечить ментальное (символистски интеллигибельное) овладение мирозданием. Конечно, герои гумилевской ранней поэзии часто терпят крах на пути к идеалу, но он обусловлен столкновением с внеположным их «я» онтологическим началом: женственностью, красотой, смертью.

В стихотворении «Думы» лирический герой Гумилева впервые оказывается в сюжетной ситуации столкновения с самим собой, которая пробуждает в нем переоценку былых ценностей. Уже заглавие данного текста, необходимость которого долгое время ставилась поэтом под сомнение, указывает на рефлексивную сосредоточенность лирического «я» на собственном внутреннем мире. Согласно толкованию в словаре В.И. Даля, «дума» означает «мысль, мечту, заботу» [8, 558] При этом в коннотативном плане данная лексема обнаруживает пейоративную семантику: «дума» предполагает размышление о чем-то тягостном и проблематичном. Соответственно, «думы», выдвигаемые заглавием текста на первый план, тематизируют ментальный акт лирического героя как драматичную рефлексю.

В первой строфе стихотворения лирический герой эксплицирует ситуацию вторжения в его сознание чуждого начала, угрожающего его эмоционально-психологическому спокойствию и онтологическому равновесию:

Зачем они ко мне собрались, думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий?
Как коршуны, зловещи и угрюмы,
Зачем жестокой требовали мести? [11, 105]

«Думы», будучи мыслями-переживаниями субъектного «я», посредством акцентуируемых сравнений, во-первых, отчуждаются вовне и предстают сторонней силой, довлеющей над человеком, а во-вторых, очерчивают своеобразный хронотоп – ночное самосознание души с ее центром (лирическим «я») и периферией («тихим мраком предместий»), то есть теми сторонами микрокосма, которые скрыты от «чистого» разума. Именно в потаенных областях внутреннего мира проступают мрачные мысли, уподобляемые «ворам» и «коршунам». Семантика этих сравнений показывает, что сюжетно разворачиваемая рефлексия лирического героя создается им как погружение в «негативный» мир собственного «я». «Воры» здесь символизируют «кражу» (утрату) тех отчетливых и прямолинейных («нищиеански-заратустровых») способов овладения миром, которые культивируются гумилевским героем-«конквистадором». В свою очередь, «коршуны» предстают «орнитологическим» знаком горя и смерти, что согласуется с мифопоэтическим представлением об этих птицах как о пророках человеческой гибели [4, 129]. Отметим, что в поэтике Гумилева «коршун» всегда маркирует приближение героя к смертным границам мира и потому оказывается подлинным вестником смерти (ср.: «Так! Но кто, подобный коршуну, / Над моей душою носится, / Словно манит к року горшему, / С новой кручи в бездну броситься?» («У берега» (1909)) [11, 227]; «Что же случилось? Чьею властью / Вытопан был наш дикий сад? / Раненый коршун, темной страстью / Товарищ дивный был объят» («Товарищ» (1909)) [11, 249]). При этом, как отмечает О. Ронен, inferнально-мortalная природа «коршуна» в гумилевских «Думах» соотносится с «ночным» углублением в собственное «я», эксплицированным в поэме А.А. Григорьева «Venezia la Bella» (1857) [27, 142]. В «венецианском» пространстве григорьевского

текста «коршун» предстает персонификацией тяжелых воспоминаний, ввергающих субъектное «я» в тоску и душевные терзания: «Проклятый коршун памяти глубоко / Мне в сердце когти острые вонзил. / И клювом жадным вся душа изрыта / *Nell mezzo del cammin di mia vita!*» [10, 373]. Однако если в поэме А. Григорьева «птичья» символика сопрягается с эмоционально-надрывным состоянием лирического героя, то у Гумилева она, напротив, встраивается в рефлексивно «вдумчивое» постижение собственного микрокосма.

Очевидно, что персонификация «дум», то есть объективация потаенных и мучительных движений души лирического субъекта, в гумилевском стихотворении восходит к поэтическим опытам старших символистов, в лирике которых мысли, чувства, мечтания, грезы, воспоминания наделяются актантными функциями и вступают в контакт с самосознанием «я». Так, в стихотворении В. Брюсова «*L'ennui de vivre*» (1902) именно «думы» оказываются онтологическим оппонентом лирического героя, нарушающим его душевный покой и неустанно преследующим его в земном бытии (ср.: «И думы... Сколько их, в одеждах золотых, / Заветных дум, лелеянных с любовью, / Принявших плоть и оживленных кровью!.. / Я обречен вести всю бесконечность их. / <...> Куда б я ни бежал истоптанной дорогой, / Они летят, бегут, ползут – за мной!» [6, 294]). Явно ориентируясь на образную систему своего наставника, Гумилев существенно трансформирует сюжетную реализацию явления «дум» в лирическом микрокосме: если в брюсовском тексте мысли-переживания демонстрируют процессуальный характер вхождения в субъектный мир и потому превращаются в своеобразный атрибут его существования, то в гумилевском стихотворении они мыслятся психологической аномалией и воплощают идеологему кары за прегрешения прошлого.

В этом отношении репрезентация «мстительных» «дум», уподобляемых «ворам» и «коршунам», сближается с постулированием видений-воспоминаний в поэтике К.Д. Бальмонта периода книги «Горящие здания» (1900), эксплицирующей переход от демонической замкнутости в лабиринтах души к мифопоэтическому познанию макрокосма. Именно персонифицированные мечты и грезы «прошлых дней» маркируют в бальмонтовском художественном мире столкновение с самим собой (ср.: «Зачем так памятно, немой пеленою, / Виденья юности, вы встали предо мною? / Уйдите. Мне нельзя вернуться к чистоте, / И я уже не тот, и вы уже не те. / Вы только призраки, вы горькие упреки, / Терзанья совести, просроченные сроки. / А я двойник себя, я всадник на коне, / Бесцельно едущий – куда? Кто скажет мне!» («Лесной пожар» (1899)) [2, 236]; «Лишь только там, на западе, в тумане, / Утонет свет поблекнувшего дня, / Мои мечты, как мертвые в Бретани, / Неумолимо бродят вокруг меня» («Утопленники» (1899)) [2, 260]; «Промелькнут, сверкнут, погаснут, – и на миг в душе моей / Точно зов, но зов загробный, станет память прошлых дней. / <...> И своим же восклицаньем я испуган в горький миг, – / Если кто мне отзовется, это будет мой двойник» («Страна Неволы» (1899)) [2, 246]). Как видно, воспоминания в поэзии К. Бальмонта обуславливают «раздваивание» лирического героя на себя нынешнего (страдающего и плененного прошлым) и себя прошлого (терзающего и манящего мечтательными соблазнами былого). Бальмонтовский «двойник» оказывается сотканным из переживаний, грез и видений утраченного этапа жизни, то есть предстает фантомом прежней жизни, что отнюдь не уменьшает степени его эмоционального воздействия на лирическое «я». Думается, что и в стихотворении Гумилева «Думы» актуализируется мотив двойничества как ментальное «расщепление» лирического сознания на «светлую» и «темную» ипостась «я», в котором первая подчиняется карающему воздействию второго.

Как указывает А. Ханзен-Лёве, «для диаволического самосознания» раннего русского символизма «характерно, что полярность, существующая между личностями, отождествляется с наличием полюсов внутри отдельной личности» [26, 77]. При это в актуализируемом символистами «романтическом образе "двойника" подчеркивается инакость и отчуждающее действие "другого", который внезапно появляется и преследует (как отражение в зеркале, тень, близнец), вселяя страх и панику» [26, 78]. Именно бытийная чуждость и «потусторонность» «собравшихся дум» определяет их «двойнический» статус в структуре гумилевского стихотворения и тем самым свидетельствует о ментальном кризисе, испытываемом лирическим героем. «Зловещий» и «угрюмый» характер мыслей, вторгающихся в субъектное «я», а также «мстительная» интенция их актуализации в лирическом сознании наделяют «думы» статусом демонического «двойника». При этом появление угрожающих эмоциональному спокойствию и онтологическому равновесию гумилевского героя «двойнических» «воров-коршунов» происходит в ночном измерении универсума, что усиливает экзистенциальную исключительность соприкосновения лирического субъекта с тайными силами собственной души. Как известно, в мифопоэтической традиции «ночь» «соотносится с пассивным принципом, женским и бессознательным» и при этом обозначает «смерть и черный цвет» [12, 289]. В свою очередь, проявляющиеся в ночное время суток «мрак», «тьма», «темнота» символизируют «первичный хаос», «мистическое ничто», а также «ассоциируются со злым началом и подчиненными ему силами разрушения» [12, 425–426]. Соответственно, в стихотворении Гумилева данные художественные знаки, хронотопически конкретизируя момент субъектной рефлексии и ее персонажной объективации («ночью в тихий мрак предместий»), семантизируют приближение лирического «я» к поворотному и роковому моменту самополагания в бытии. Скрытый от разума «хаос» души проступает в качестве «мстительного» «двойника» – собственных «мыслей», свидетельствующих об амбивалентности человеческого микрокосма.

Во второй строфе стихотворения сюжетно разворачивается столкновение лирического субъекта с самим собой, а точнее – его соприкосновение с прежним опытом бытия. Явление «дум» как «темной» ипостаси лирического «я» дискредитирует его романтические идеалы, которые оказываются не способными выдержать натиск действительности, воплощенной в образе персонифицированных «мыслей»:

Ушла надежда, и мечты бежали,
Глаза мои открылись от волненья,
И я читал на призрачной скрижали
Свои слова, дела и помышленья [11, 105].

Во-первых, здесь актуализируется элегическая направленность лирического высказывания: исчезновение «надежды» и «мечтаний», которые очевидно индексируют былую устремленность субъекта к освоению бытийных горизонтов, констатирует ценностный разрыв между настоящим и прошлым, обусловленный вторжением «дум» в лирический микрокосм. Это темпорально-аксиологическое расподобление субъектного «я» согласуется с жанрово-модальным инвариантом элегии, основой которого является «переживание безвозвратно уходящего времени, уносящего молодость, надежды, мечты, любовь, жизнь и разрушающего ценности и идеалы» [18, 303]. Очевидно, что лирический герой Гумилева постулирует сосредоточенность на ценностных ориентирах и бытийных чаяниях своей прежней жизни. Знак «призрачная скрижаль» одновременно обозначает и душевное состояние «я» в момент рефлексии, и его память. «Слова, дела и

помышленья», то есть мысли, поступки и стремления, проступающие в рефлексивном углублении лирического героя в собственное прошлое, с одной стороны, являются маркером его элегического созерцания прежней жизни, а с другой – предстают сущностным «ядром» кризисного столкновения с «думами» – «зловещим» и «угрюмым» «двойником». Отметим, что элегизм здесь поддерживается и на уровне ритмического «рисунка» стиха, так как семантический ореол 5-тистопного ямба, которым написаны «Думы», предполагает «элегическую тематику», сопряженную с «взволнованными» и «мятущимися» проявлениями субъектного самосознания [9, 174].

Во-вторых, в этой строфе «думы» наделяются статусом инобытийного поводыря лирического субъекта, так как их явление в его сознании, нарушающее ментальное равновесие, продуцирует вскрытие иллюзорности и ложности прежних аксиологических основ бытия. Эксплицируемый здесь мотив прозрения («Глаза мои открылись от волненья») соотносится с начальной точкой онтологического преображения лирического героя в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк» (1926). Так же, как пушкинский «серафим» ведет человека (Поэта) к открытию сущности универсума (ср.: «Перстами легкими как сон / Моих зениц коснулся он. / Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы» [19, 149]), гумилевские «думы» ведут «символиста-декадента» к познанию собственной души. Стихотворение Гумилева сближается с «Пророком» Пушкина сходством мотива прозрения, открывающего профанность (ложность и греховность) идеалов прежней жизни (романтической юности). Однако при этом гораздо важнее смысловое различие пушкинского и гумилевского сюжета «откровения». Если у поэта XIX века истина бытия раскрывается посредством явления и действий подлинно иноприродной (божественной) силы («серафима») и потому закрепляется принятием героем новой «пророческой» ипостаси «я», то у Гумилева «тайну мира» открывают собственные «думы» лирического субъекта. Явленные не в «серафическом», а в «демоническом» облике «воров» и «коршунов», они ведут человеческое «я» к катастрофическому познанию бесплодности и романтической иллюзорности бытийного самоопределения. В пушкинском «Пророке» декларируется поэтический экстаз восхождения к подлинной онтологии универсума, а в «Думах» Гумилева констатируется кризис романтически-символистской идеализации миропорядка.

Даруя прозрение лирическому «я», «думы» в качестве «темной» («двойнической») ипостаси его души продуцируют воспоминания о прежних ценностях и поступках («словах, делах и помышленьях»), которые, с одной стороны, раскрывают аксиологию и мировоззрение героя в прошлом, а с другой – являют их переоценку, определяемую в качестве «мести» со стороны потаенных сторон собственного микрокосма. Третья, четвертая и пятая строфы стихотворения, представляя собой синтаксический период, сюжетно развертывают былые деяния, помыслы и состояния лирического «я», обуславливающие постулируемый момент расплаты:

За то, что я спокойными очами
Смотрел на уплывающих к победам,
За то, что я горячими губами
Касался губ, которым грех неведом,

За то, что эти руки, эти пальцы
Не знали плуга, были слишком тонки,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Томили только, горестны и звонки, –

За все теперь настало время мести.
Обманный, нежный храм слепцы разрушат,
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во тьме, меня задушат [11, 105].

Анафорическая актуализация причин «мести» со стороны объективированного ментального «двойника» («За то, что...») выстраивается в ряд символистских ценностей бытийного самополагания «я», которые онтологически прозревающим лирическим субъектом ныне полагаются в качестве ложных ценностей. Как видно, рефлексивно осмысляемое прошлое демонстрирует созерцательный характер романтический устремлений гумилевского героя: победная героика предстает чуждым уделом, отношение с женским началом – порочным, творчество – лишенным подлинного труда, а восприятие искусства – рафинированным эстетством. Этот ряд воспоминаний о собственных бытийных ориентирах, формально элегизированный, вступает в конфликт с элегическим мировосприятием. Если традиционно в элегии «воспоминание <...> превращается в самостоятельного субъекта-призрака, раскидывается идиллическом миром детства, а порой оказывается мерилем способности быть человеком» [15, 216], то в стихотворении Гумилева, напротив, смысловой вектор погружения в былые состояния «я» нацелен на предельную профанацию памяти. Гумилевский лирический субъект осознает, что изначальные идеалы его жизненного самоосуществления далеки от идеала. По сути, в стихотворении «Думы» эксплицируется конфликтное напряжение между двумя версиями неоромантизма: эстетической мифологизацией реальности и «жизнестроительным» восхождением к бытийным идеалам. Лирический герой сознает профанный характер своих символистских устремлений к созерцательно-ментальному преобразению универсума, которые определяют поэтику его первой книги стихов «Путь конкистадоров», но еще не видит путей к действенно-созидательному единению микрокосма и макрокосма. Поэтому его соприкосновение с собственными «думами» в сюжетном разворачивании текста пуантируется трагической перспективой онтологического самоопределения.

Мотив мести, изначальной явленный в структуре стихотворения, в его финале обретает смысловое завершение: ложные ценности символистского неоромантизма («обманный, нежный храм») обрекаются гибели, причем со стороны тех, кто не сознает их смысла. «Слепцы», призванные «разрушить» рафинированную модель изначального гумилевского мира, с одной стороны, отождествляются с «думами», то есть с самим лирическим «я», а с другой – отчуждаются от него и мыслятся инобытийной силой. Соответственно, стихотворение перемещается в «балладный» регистр его художественного завершения.

Как известно, в основе сюжетного строения баллады находится переход границы между «посюсторонним» и потусторонним мирами, который совершает «персонаж из потустороннего мира, вступая в контакт с героем, принадлежащим миру "здешнему"» и «заканчивается <...> такая встреча для последнего не победой и преобразованием, а катастрофой» [17, 26]. Как видно, гумилевские «думы», будучи персонифицированными в образах «коршунов» и «воров», являют собой инобытийного персонажа, который мстительно стремится расправиться с лирическим героем стихотворения. Именно балладный горизонт смыслообразования эксплицируется в финале «Дум» Гумилева и определяет его смысловое завершение. Гумилевская поэтика демонстрирует разветвленную систему повествовательных баллад, восходящих к литературной практике XIX – начала XX веков и образующих особый тип

«акмеистической» баллады [16]. В данном же случае «балладность» утверждается нарочито анарративным способом – не как структурирование лирического дискурса, а как архитектурное воплощение конфликтной модели мира. Как показывает В.И. Тюпа, баллада в своем смыслопорождающем проявлении отнюдь не связана с нарративом и потому может проявлять себя в различных лирических дискурсах, в которых обнаруживается откровение одновременной причастности личности двум мирам: светлому и темному, живому и мертвому, повседневно покойному "миру сему" и тревожно загадочному, пугающему миру "потустороннего" бытия [24, 133]. При этом принципиально важно, что балладное двоемирие ведет к катастрофическому итогу – смерти и небытию. «Баллада» в плане субъектного самосознания являет «откровение неизбежного конца, предопределенной исчерпанности индивидуального бытия, но одновременно – откровение его особенности, жертвенной ценности» [24, 134].

Соприкасаясь с собственными мыслями-воспоминаниями в «ночном» пограничье («предместьях») души, лирический герой оказывается в ситуации «балладного» героя, катастрофически не способного противостоять «думам», то есть авторефлексивному постижению прошлого и видению его бытийной профанности. Поэтому онтологической перспективой столкновения с прошлым и с мыслями-переживаниями, вторгающимися в субъектный микрокосм оказывается смерть («И думы, вору в тишине предместий, / Как нищего во тьме, меня задушат»). Такое предвидение смертельного итога личного бытия, соответствующее «балладной» логике смыслового завершения текста, с одной стороны, эксплицирует кризис лирического самосознания Гумилева уже на ранних стадиях его творческого развития, а с другой – воплощает гумилевский онтологический пессимизм. Неоромантические – символистские и акмеистические – стремления лирического «я» поэта к конвергенции микрокосма и макрокосма в их абсолютном проявлении с самого начала гумилевского творческого пути сопрягаются не только с героическим самоосуществлением, но и с трагической неразрешимостью бытийных движений человеческой личности.

Итак, поэтика стихотворения Гумилева «Думы» являет собой концептуальный опыт лирической рефлексии над антиномичностью собственной субъектной позиции в утверждаемой поэтом неоромантической реальности. Символистская устремленность лирического героя Гумилева 1900-х годов к идеальной и неоромантически рафинированной области бытия здесь подвергается критической переоценке, эксплицирующей кризис онтологического самоопределения субъектного «я». Собственные «думы», персонифицируемые в качестве враждебного лирическому герою начала (как «воры» и «коршуны») и потому уподобляемые «темному» «двойнику», воспринимаются гумилевским субъектом в качестве кары за созерцательное («декадентское») понимание бытийного идеала, лишенное «жизнестроительного» единства «слова» и «дела». Элегизируя видения прошлого и акцентируя момент ценностного прозрения, лирический субъект использует балладную жанровую стратегию репрезентации своего столкновения с «думами», призванными судить и карать его за профанные смыслы и греховные заблуждения изначальной жизненной позиции. Поэтому встреча с «думами» как объективированной вовне «мстительной» ипостасью собственного «я» предполагает гибельный для героя итог. Предвидение смертельного исхода репрезентируемого контакта с самим собой, с одной стороны, указывает на неудовлетворенность поэтом символистским концептуальным расподоблением идеала и реальности, а с другой – утверждает идеологему движения к подлинному бытию посредством трансгрессивного перехода между жизнью и смертью. Соответственно, стихотворение «Думы» эксплицирует кризисную самоактуализацию

субъектного «я» в мире, которая впоследствии становится онтологической нормой сопряжения микрокосма и макрокосма в поэтике Гумилева.

1. Асоян А.А. Семантика антитезы в поэтическом мире Николая Гумилева // Асоян А.А. Семиотика и метафорика художественных форм. СПб., 2019. С. 307–313.
2. Бальмонт К.Н. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М., 2010.
3. Баскер М. Ранний Гумилев: Путь к акмеизму. СПб., 2000.
4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996.
5. Богомолов Н.А. Читатель книг // Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 52–80.
6. Брюсов В.Я. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 1892–1909. М., 1973.
7. Верховский Ю.Н. Путь поэта. О поэзии Н.С. Гумилева // Н.С. Гумилев: pro et contra. СПб., 2000. С. 505–550.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1: А–З. М., 2006.
9. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строрифика. М., 2000.
10. Григорьев А.А. Собрание сочинений: В 10-ти томах. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Переводы поэзии. СПб., 2021.
11. Гумилев Н.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902–1910). М., 1998..
12. Кирло Х. Словарь символов: 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории. М., 2010.
13. Кихней Л.Г., Купцова М.Ю. Лирика раннего Н. Гумилева как имплицитная имиджевая стратегия // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере. М.– Пенза, 2022. С. 113–124.
14. Климчукова В.Н. Поэзия Н. Гумилева: истоки и свершения. М., 2012.
15. Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. М., 2013.
16. Куликова Е.Ю. Сюжетно-мотивные комплексы баллады акмеизма // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2021. Т. 31. № 3. С. 551–563.
17. Магомедова Д.М. Баллада // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. научн. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 26–27.
18. Магомедова Д.М. Элегия // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. научн. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 303–304.
19. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Стихотворения. 1823–1836. М., 1959.
20. Раздьяконова Е.Г. Хронотопические особенности лирики Н. Гумилева сквозь призму конфликта // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Пенза, 2015. № 1(23). С. 193–199.
21. Слободнюк С.Л. Рыцарь Утренней Звезды: Миры Николая Гумилева. СПб., 2010.
22. Смелова М.В. Онтологические проблемы в творчестве Н.С. Гумилева. Тверь, 2004.
23. Степанов Е.Е. Летопись жизни Николая Гумилева на фоне его полного эпистолярного наследия. 1886–1921. Т. 1. 1886–1913. М., 2019.
24. Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013.
25. Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. Письма: в 6 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1849. М., 2002.
26. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999.
27. Ronen O. An Approach to Mandel'shtam. Jerusalem, 1983.